

А. БЕЛЫЙ

Шестов. Начала и концы

На всех произведениях этого мыслителя лежит печать глубокой вдумчивости. Не сразу проникает он в наше сознание: это потому, что слишком легко мы стремимся подвести оригинальное творчество мысли под общеизвестный трафарет; оригинальное творчество всегда имеет свою тень; эта тень — подобие высказываемых мыслей, когда подгоняем мы их под общепонятный лозунг. Есть и у Шестова свой двойник: скептицизм. Многие из нас недостаточно оценили Шестова по первым его книгам: перед нами явилась сперва тень Шестова (скептицизм), а потом сам Шестов. Тень его сидела в редакциях; с ней имели дело его популяризаторы и критики; сам Шестов одиноким странником путешествовал по нивам русской мысли. Повторилась история об одном *страннике и его тени*, тень выдавала себя за странника; *странник* ускользал, как тень.

Еще в ранних книгах этого замечательного мыслителя ценили мы блестящие страницы (анализ Милля, разбор трагедии, разбор «*подполья*» у Достоевского); но, определяя общий «*habitus*» его взглядов на жгучие для нас темы, мы определили этот «*habitus*» как скептицизм: задачи, выдвинутые символизмом, новым религиозным сознанием, казались нам и более глубокими, и более сложными; с другой стороны, скептицизм и адогматизм, как миропонимания, вовсе не выдерживают критики с точки зрения догматов критической философии, пока адогматизм понимаем мы так, как понимали его почти все адогматики.

Но адогматизм Шестова особого рода.

В последней книге, где собраны его статьи, в достаточной степени дает он понять, что его адогматизм не имеет ничего общего с банальными формами адогматизма и скептицизма. В статье о Чехове («*Творчество из ничего*»), в статьях «*Похвала Глупости*» и «*Предпоследние слова*» ярко и кратко вносит он поправки к своему поверхностно понятому адогматизму, — и перед нами огненное лицо самого Шестова, озаренное как бы вспышками молний *его правды, его догмата*: появляется *странник*, расплющивая свою тень на стене.

Шестов утверждает свободу творчества: все — сфера творчества: философия, логика, искусство, религия; прав тот, кто творит и, творя, побеждает; истина, как общеобязательное суждение, — никому не нужна, ибо и у нее есть предпосылки. Вот основной лейтмотив его книги. Но он вовсе не высказывает своего догмата; он все боится того, что высказывание свяжет его с необходимостью предъявить нам суждение и потом защищать суждение посредством общеобязательной предпосылки; а в общеобязательность предпосылок разума он не может верить, буду-

чи человеком, убежденным в религиозную реальность переживаемого творчества. Верить — не верит, а доказать гносеологически бесплодность гносеологии — не хочет, не может. Вернее всего, что его вера в творчество не может позволить ему пользоваться нормами познания. Почему же он говорит с нами формой суждения? Ведь единственный способ его обращения к нам не доказательство: не может он что-либо доказать. Он может показать себя, но для этого надо быть пророком, художником; не может или не хочет он быть — ни тем, ни другим. Ему остается опровергать всех: и форма его опровержений (тень Шестова) — скептицизм.

Мы тоже исповедуем примат творчества над познанием; но мы выносим *творчество* из области теории творчества; теория творчества для нас вовсе не догмат, а прием доказательств свободы творчества от противного; в терминах любого метода подбираемся мы к пределу любого метода; говорим: «здесь стена»; «+» любого метода сводим на «-»; системой минусов огораживаемся от условных плюсов; система минусов и есть теория знания: предопределяя эту последнюю творчеством, мы присоединяем к первому минусу минус второй: «-» на «-» = «+». Вот как доказываем мы условность познания в условиях познания. Если Шестов упрекает нас в теоретизировании (т. е. в догматизме), то разве не понимает он, что поступай мы иначе, мы *все* не имели бы права ничего утверждать; мы должны были бы только творить. Быть может, он и прав; но до тех пор, пока не возьмет перо в руки; раз взял перо и пишет статью, то обязан надеть маску догматизма. «Минус на минус = плюс: ведь этот плюс — постулат». Да, но пусть обратится он к образам Ницше, Ибсена: разве здесь не было творчества? В пределах познания условно позволяем себе строить условные догматы; но догматы эти не являются ли намеками на то, что внешние сферы бытия, где все заснули, пробуждаем мы к внутреннему. *Туда* зовем, *туда*. А призыв Шестова долетает до многих лишь как скептический догмат, удаляющий самого Шестова в сторону, противоположную его устремлению. Шестов как колдун из «Страшной мести»¹ вскакивает на своего коня (скептицизм), чтобы умчаться прочь от Карпатов догматики; а Карпаты (догматизм) — все ближе и ближе от него: он уже на Карпатах; перед ним — Страшный Мститель, которого сам Шестов спихнул в пропасть когда-то: это — творчество жизни. Быть может, летит на Карпаты тень Шестова (опять этот странник проделал с нами свой фокус!), а сам он удалился от нас в свое творческое молчание? Что под молчанием? Ницше молчаливо нам улыбался. По улыбке догадывались мы о Ницше-практике (о том факире, про которого сам Шестов выражается, будто этот факир гнал в сторону от истины; мы называем такой способ действия подчинением истины образу ценности: что образ ценности у факира есть — в этом, надеюсь, и Шестов не усомнится). Итак, Ницше из молчания нам подавал знак творческим жестом: Шестов окаменел перед нами без жеста, надев маску скептической

суетливости, окаменел, а пишет книгу за книгой. Книги его замечательны — это бесспорно. Но все, же книги — книги. Следовательно, сам Шестов не факир. Тогда творчество его подчинено формальным истинам логики; логическое же отрицание логических путей есть отрицание извне: Шестов гетерономен в отрицании.

Шестов, или тень Шестова?

Все это — в сторону автора. А вот в сторону публики.

Шестов замечательно предостерегает нас от поверхностных способов утверждения ценности. Становясь отрицателем (в отношении к Мережковскому звучит эта нота), он теряет свою глубину и силу. Становясь отрицателем Канта, он попадает в странное положение «*Уайлд и Ницше с одной стороны... неокантианцы... с другой открыто проповедуют ложь*». «Даже просто *истина* ничего не говорит уху», — замечает он дальше. Вывод: Шестову должны говорить неокантианцы, ибо они не говорят *об истине*. Далее Шестов зовет к освобождению от истины: «*Нужно найти способ вырваться из власти всякого рода истин. В эту сторону гнали факиры*». Итак: нужно быть... неокантианцем? «Нет, — скажет Шестов, — нужно быть факиром». А что если кантианцы — факиры?.. «*Не вижу, чтобы это было так*», — возразит мне Шестов. А вот я не вижу, чтобы Шестов был факиром: следовательно, если бы даже я согласился с необходимостью лжи, я не мог бы согласиться с Шестовым, подозревая его в намерении под видом отрицания всякого рода «*истин*», утвердить какую-нибудь из них... контрабандой. Но ложь мне необходима, и я охотно прислушиваюсь к молчаливому утверждению Шестова, что только живое творчество истинно. У меня есть для этого особое словечко (да простит мне Шестов!), словечко это «*символизм*». Но ведь и у Шестова в свою очередь есть такое же словечко: «*адогматизм*»; и из него вырастает тень Шестова (скептицизм), мчащаяся к Карпатам догматизма.

На Карпатах есть пропасть; в нее пролетает тень Шестова. Эта пропасть заключается в догмате, будто *истина = неистине*, а *неистина = истине*.

Надеюсь, что сам Шестов благополучно избегнет пропасти.

Д. В. ФИЛОСОФ

Апофеоз беспочвенности

Л. Н. Андреев высказал недавно сотруднику «Новой Руси» свое мнение о русских критиках.

«У нас нет настоящих литературных критиков, — жаловался он, — все они с большими недостатками»¹. К. И. Чуковский обладает